



Джулиан Барнс Лимонный стол (сборник)

текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4958692
Джулиан Барнс. Лимонный стол: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-61507-0

Аннотация

В сборнике «Лимонный стол», как и в «Предчувствии конца», Барнс показывает героев, которые живут воспоминаниями, причем действительность в этих воспоминаниях трансформируется в угоду их фантазии, тщеславию, чувству самосохранения, наконец. В небольшой рассказ Барнс виртуозно помещает всю биографию персонажа, рисуя ее одним-двумя сочными мазками, при этом делает это с присущим ему мягким юмором, заражая читателя философским отношением к жизни.

Содержание

Краткая история стрижек	4
1	5
2	9
3	13
История Матса Израельсона	17
Вещи вам известные	30
1	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Джулиан Барнс Лимонный стол

Посвящается Пат

Краткая история стрижек

1

¹ A Short History of Hairdressing ©Перевод. И. Гурова, 2006.

1

В первый раз после их переезда его привела мама. Предположительно, чтобы оценить парикмахера. Будто распоряжение «покороче сзади и по бокам и чуть-чуть убрать на макушке» в этом новом пригороде могло означать что-то другое. Он так не думал. Все остальное выглядело тем же самым: пыточное кресло, хирургические запашки, ремень и сложенная бритва – сложенная не для безопасности, а как угроза. И главное, заплечных дел мастер был тем же самым: психом с огромными ручищами, тем, кто нагибает твою голову так, что чуть гортань не ломается, кто тычет тебе в ухо бамбуковым пальцем.

– Проинспектируйте, мадам? – сказал он, подмазываясь, когда закончил.

Мама стряхнула с себя воздействие журнала и встала.

– Очень мило, – сказала она неопределенно, наклоняясь над ним, распространяя тот же запах. – В следующий раз он придет сам.

На улице она потеряла его по щеке, поглядела на него ленивыми глазами и пробормотала:

– Бедный обстриженный ягненок.

А теперь он был предоставлен сам себе. Шагая мимо конторы агента по недвижимости, спортивного магазина и банка с верхним этажом из бревен, он репетировал, как скажет: «Покороче сзади и по бокам и чуть-чуть убрать на макушке». Он произносил слова напряженно, одним духом, главное было произнести их. Не путая. Как молитву. В кармане у него лежали шиллинг и трехпенсовик; он потуже сжал носовой платок, чтобы обезопасить монеты. Ему не нравилось, что ему не разрешено бояться. У зубного врача было проще: мама всегда приводила тебя сама, врач всегда делал тебе больно, но потом он всегда давал тебе тянучку за то, что ты был хорошим мальчиком, а выходя в приемную, ты делал вид перед другими пациентами, будто ты железный. Родители гордились тобой. «Побывал на войне?» – спрашивал папа. Боль вводила тебя в мир взрослых фраз. Зубной врач говорил: «Скажи своему отцу, что ты годе́н для десанта. Он поймет». И он возвращался домой, и папа говорил: «Побывал на войне?» – и он отвечал: «Мистер Гордон говорит, что я годе́н для десанта».

Входя, он ощутил себя почти значимым, так по-взрослому пружинила дверь под его ладонью. Но парикмахер только кивнул, ткнул гребенкой в сторону ряда стульев с высокими спинками и снова принял изогнутую стойку над седым хрычом. Грегори сел. Стул под ним скрипнул. Ему уже хотелось посикать. Рядом с ним был ящик с журналами, но он не посмел в них заглянуть и уставился на пол, на гнездышки хомячков из состриженных волос.

Когда подошла его очередь, парикмахер положил на сиденье толстую резиновую подушку. Жест был оскорбительно-унизительным. Он же носит длинные брюки уже десять с половиной месяцев. Вот так всегда. Правил толком не знаешь, не знаешь, пытаются ли они таким образом всех или одного тебя. Вот как теперь: парикмахер примеривался удавить его простыней, все ту же затягивая ее у него на шее, а затем запихнул салфетку ему за воротник.

– И что мы можем сделать для вас сегодня, молодой человек? – Тон намекал, что непотребная и коварная мокрица, какой он, несомненно, является, пробраться сюда могла по многим самым разным причинам.

После паузы Грегори сказал:

– Я бы хотел постричься. Пожалуйста.

– Ну так, значит, ты пришел туда, куда следует, верно? – Парикмахер постучал гребенкой по его макушке, не больно, но и не приятно.

– Покороче-сзади-и-по-бокам-и-чуть-чуть-убрать-на-макушке.

– Ну, так трогаемся, – сказал парикмахер.

Мальчиков они стригли только в определенные часы недели. Объявление предупреждало: «Мальчиков утром в субботу не стрижем». В субботу они закрывались уже днем, так что можно было бы написать: «Мальчиков по субботам не стрижем». Мальчикам приходилось стричься, когда мужчинам было неудобно. По крайней мере мужчинам работающим. Он ходил в часы, когда остальными клиентами были пенсионеры. Парикмахеров было трое, все пожилые, в белых халатах, и они распределяли свое время между юными и старыми. Они подмазывались к прочищающим горло старым хрычам, вели с ними таинственные разговоры, делали вид, будто очень интересуются их занятиями. Старые хрычи носили пиджаки и кашне даже летом, а уходя, давали чаевые. Грегори следил за передачей уголком глаза. Один человек дает другому деньги, тайное полурукопожатие, и оба делают вид, будто никакой передачи не было.

Мальчики на чай не дают. Может быть, потому-то парикмахеры и ненавидят мальчиков. Они платят меньше и на чай не дают. И еще они вертелись. А точнее, их мамы говорили им, чтобы они не вертелись, и они не вертелись, но это не мешало парикмахерам бить их по головам ладонями, твердыми, как плоская сторона топорика, и бурчать: «Не вертись!» Ходили рассказы про мальчиков, у которых остригали верхушки ушей, потому что они вертелись. А бритвы называют «горлорезками». Все парикмахеры были психи.

– Значит, мы в отряде волчат?

Грегори не сразу сообразил, что спрашивают его. А потом не мог решить, держать ли голову опущенной или посмотреть вверх в зеркало на парикмахера. В конце концов он оставил голову опущенной и сказал «нет».

– Значит, уже бойскаут?

– Нет.

– Крестоносец²?

Грегори не знал, что это такое. Он начал приподнимать голову, но парикмахер стукнул гребенкой по его макушке.

– Не вертись, кому сказано.

Грегори так испугался психа, что не сумел ответить, и парикмахер счел это отрицательным ответом.

– Прекрасная организация «крестоносцы». Ты подумай, подумай.

Грегори подумал, как его рубят на куски кривые мечи сарацинов, как его, растянутого между колышками на песке пустыни, поедают муравьи и стервятники. Одновременно он подчинялся холодной гладкости ножниц – всегда холодных, даже когда они были теплыми. Крепко зажмурившись, он терпел пытку щекоткой от падающих на лицо состригаемых волос. Он сидел, все еще жмурясь, в убеждении, что парикмахер должен был бы покончить со стрижкой давным-давно, но он такой псих, что, наверное, будет стричь и стричь, пока Грегори не станет совсем лысым. А впереди еще маячила насадка бритвы на ремне, а это значит, что тебе перережут горло; сухое скребущее ощущение лезвия рядом с твоим ухом и на шее сзади; кисточка, сунутая тебе в глаза и нос, чтобы вымести волосы.

Все это были кусочки, которые вгоняли тебя в дрожь всякий раз. Но в этом месте, кроме того, пряталось что-то еще жутчее. Он подозревал какую-то неприличность. То, про что ты не знал или про что тебе знать не полагалось, обычно оборачивалось неприличностью. Например, парикмахерская вывеска-шест. Сразу же видно, что неприлично. В том месте это была старая раскрашенная деревяшка с разноцветной каемкой. А тут она работает на электричестве и все время крутится в разноцветьи. Это еще неприличнее, подумал он. Ну, а ящики с журналами? Он был уверен, что некоторые журналы очень неприличные. Все было

² Член крикетного студенческого клуба Кембриджского университета. – Здесь и далее примеч. пер.

неприличным, если так считать. Великая истина жизни, которую он только сейчас открыл. Но он ничего против не имел. Неприличное Грегори нравилось.

Не поворачивая головы, он посмотрел в створке зеркала на пенсионера через два кресла от него. Тот чего-то бэкал громким голосом, как все старые хрычи. Теперь его парикмахер, нагибаясь над ним, маленькими ножничками с закругленными кончиками выстригал волоски из его бровей. А потом и из ноздрей, и из ушей. Выстригал веточки из его ушных дырок. Противно, дальше некуда. Наконец парикмахер начал кисточкой втирать порошок в шею старого хрыча.

Это еще зачем?

Тут его заплечных дел мастер вытащил машинку. Еще одно, чего Грегори не любил. Иногда они пользовались ручными машинками, вроде консервных открывалок: взз, трр, взз, трр по верхушке его черепа, пока не вскрывались его мозги. Но эта была жужжалкой – в десять раз хуже, потому что такие могут убить тебя током. Он сто раз видел это в воображении. Парикмахер жужжит себе, не замечая, что делает, вообще ненавидит тебя за то, что ты мальчик, и отхватывает клинышек с твоего уха, кровь льет на машинку, короткое замыкание, и тебя убивает током на месте. Наверное, миллионы раз такое случалось. А парикмахер всегда остается жив-здоров, потому что носит обувь на резиновой подошве.

В школе они плавали голышом. Мистер Лофтхаус надевал мешочек, чтобы они не видели его моталку. Мальчики снимали с себя все, принимали душ от вшей, а может, от бородавок или еще чего-то, или чтоб не вонять, как Вуд, а потом прыгали в бассейн. Ты подпрыгиваешь вверх, и вода бьет тебя по яйцам. Получается неприличность, и ты стараешься, чтобы учитель не заметил. От воды яйца у тебя становятся тугими, а потому твой петушок еще больше топорщится, а после они растирались полотенцами досуха и глядели друг на друга, не глядя, а вроде вбок, как в зеркало в парикмахерской. Все в классе были одного возраста, но некоторые были там еще совсем лысые; у других, как у Грегори, была полоска из волос поперек, а на яйцах ничего; а некоторые, вроде Хопкинсона и Шапиро, были уже волосатыми, как мужчины, и потемнее цветом, коричневатые, как папин, когда он плакал, стоя перед специальной раковиной. Ну, все-таки у него волосы какие-никакие, а есть, не то что Лысый Бристоу и Холл, и Вуд. Но вот как Хопкинсон и Шапиро добились такого? У всех остальных только петушки, а у них моталки.

Ему требовалось попить. Но этого нельзя. Не надо думать про пиканье. Он потерпит до дома. Крестоносцы сражались с сарацинами и освободили Святую землю от неверных. А варваров называли варварами, потому что они были бородатыми. Как Фидель Кастро, сэр? Одна из шуточек Вуда. Они носили кресты на своих плащах. Кольчуги в Израиле, наверное, накалялись. И перестань думать, будто ты можешь выиграть золотую медаль в соревновании, кто выше опикает стену.

– Местный? – внезапно сказал парикмахер. Грегори посмотрел на него в зеркало – в первый раз по-настоящему. Красное лицо, усики, желтоватые волосы цвета школьной линейки. *Quis custodiet ipsos custodes*³, учили их в школе. Так кто парикмахит самих парикмахеров? Ясно было, что этот не только псих, но и педик вдобавок. Все знают, что педиков повсюду миллионы. Учитель плавания тоже педик. После урока, пока они дрожат, кутаясь в полотенца, а яйца у них совсем тугие, а их петушки плюс две моталки торчат, мистер Лофтхаус проходит вдоль борта бассейна, лезет на вышку, стоит там, пока они на него не устанутся – на бугристые мышцы, и татуировки, и вытянутые руки, и мешочек со шнурками вокруг его задницы, а тогда набирает воздуха, ныряет и проплывает под водой всю длину бассейна. Двадцать пять ярдов под водой. Потом коснется бортика и вынырнет, а они все хлопают в ладоши – конечно, понарошку, а не всерьез – а он их будто не замечает и отраба-

³ Кто охраняет самих охраняющих (лат.).

тывает разные стили. Почти все учителя, наверное, педики. Один даже носит обручальное кольцо. А это точное доказательство.

Вот и этот тоже.

– Ты тут живешь? – спросил он опять. Грегори на это не клюнул. Тут же явится записывать его в скауты или в крестоносцы. А потом спросит у мамы, нельзя ли ему взять Грегори на ночевку в лесу – но палатка-то будет одна, и он начнет рассказывать Грегори истории про медведей, и хотя они учили географию, и Грегори знал, что медведи в Британии вымерли во времена крестоносцев, он все равно почти поверит, если педик скажет ему, что пришел медведь.

– Недавно, – ответил Грегори. Не слишком умно, тут же сообразил он. Они ведь только сейчас переехали. И парикмахер будет по-всякому шпынять его, когда он снова придет, и снова, и снова, годы и годы. Грегори метнул взгляд вверх в зеркало, но педик и виду не подал, а рассеянно щелкнул в последний раз. Потом запустил пальцы за воротник Грегори и встряхнул его, чтобы побольше волосков провалилось ему за шиворот.

– Подумай о крестоносцах, – сказал он, высвобождая простыню. – Для тебя в самый раз.

Грегори увидел, как воскресает из-под савана, совсем прежний, только уши у него торчали больше. Он начал соскальзывать с резиновой подушки вперед. Гребенка стукнула его по макушке, теперь больнее, потому что у него там осталось меньше волос.

– Потихе, потихе, молодой мой человек. – Парикмахер вперевалку прошел по узкому залу и вернулся с овальным зеркалом вроде подноса. Он наклонил его, чтобы отразить затылок Грегори. Грегори посмотрел в первое зеркало, во второе зеркало и за него. Затылок был не его. Он выглядел совсем не так. Грегори почувствовал, что краснеет. Ему хотелось попить. Педик показывал ему чей-то чужой затылок. Черная магия. Грегори смотрел и смотрел, лицо у него становилось все краснее, а он смотрел на чей-то чужой затылок, подбривший, обстриженный, но затем понял, что вернуться домой он сможет, только подыграв педику, а потому он еще раз посмотрел на инопланетянский затылок, храбро поглядел повыше в зеркало на равнодушные очки парикмахера и сказал тихонько:

– Да.

2

Парикмахер поглядел вниз с вежливым презрением и экспериментально провел гребенкой по волосам Грегори, будто там, глубоко в подлеске, мог притаиться давно забытый пробор, как какая-нибудь средневековая тропа паломников. Пренебрежительный взмах гребенки сбросил значительную часть оставшихся волос ему на глаза и ниже до самого подбородка. Позади этого внезапно упавшего занавеса он подумал: «Чтоб тебя, Джим!» Он сидел здесь только потому, что Элли больше его не стригла. Ну, во всяком случае, теперь. Мысль о ней обернулась страстным воспоминанием: он в ванне, она моет ему волосы и подстригает их, а он сидит там. Он выдергивал затычку, и Элли смывала с него клочки волос, играя струями душа, а когда он вставал, она почти всегда забирала его в рот и посасывала, вот так просто, обирая с него несмытые клочки. Вот так.

– Какое-нибудь конкретное... место... сэр? – Типчик разыгрывал поражение в поисках пробора.

– Просто зачешите назад. – Грегори мстительно дернул головой, так что его волосы перелетели через макушку, как им и полагалось. Он высунул руки из-под паршивого нейлонового балахона и пальцами зачесал волосы на место. Потом слегка взбил. Такими они были, когда он вошел сюда.

– Какая-нибудь конкретная... длина... сэр?

– На три дюйма ниже воротника. А по бокам снимите до кости, вот тут, – Грегори средними пальцами провел границу.

– И желаете побриться?

Наглость хренова. Бритое лицо в наши дни выглядит именно так. Только адвокаты, да инженеры, да лесничие каждое утро залезают в свои туалетные мешочки и соскребают щетину, будто кальвинисты. Грегори повернулся боком к зеркалу и скосил взгляд на себя.

– Ей нравится именно так, – сказал он небрежно.

– Так мы, значит, женаты?

Поостерегись, мудак. Не липни ко мне. Брось заговорщический тон. Разве что ты гомик. Не то что я имею что-нибудь против такой ориентации. Я за свободный выбор.

– Или бритье для вас особая пытка?

Грегори не побеспокоился ответить.

– Сам-то я уже двадцать семь лет, – сказал типчик, зацелкав ножницами. – Есть свои плюсы и свои минусы, как во всем прочем.

Грегори покряхтел более или менее выразительно, словно в зубо врачебном кресле, когда во рту у тебя полно пыточных инструментов, а протезисту приспичило рассказать тебе анекдот.

– Двое детей. Один уже взрослый. А девочка еще дома. Ну, да обернуться не успеешь, как вспорхнет и улетит. Все они рано или поздно покидают курятник.

Грегори посмотрел в зеркало, но их взгляды не встретились. Типчик щелкал ножницами, наклонив голову. Может, он не так уж и плох. Занудлив, конечно. Ну и, конечно, психологически безнадежно исковеркан десятилетиями покорной эксплуататорской связи господин – слуга.

– Но может, вы не из тех, кто женится, сэр?

Эй, погоди-ка! Кто кого обвиняет в гомосексуальности? Он всегда питал омерзение к парикмахерам, и этот не составил исключения. Провинциальный мудака, и всё тут, два целых четыре десятых ребенка, взносы по закладной, вымыл машину, загнал в гараж. Недурной участок у железной дороги, курносая жена, развешивающая белье на металлической

карусельной штуке. Угу, угу, насквозь вижу. Вероятно, днем по субботам бегают как рефери на матче какой-нибудь занюханной лиги. Да нет, какой там рефери, просто судья на линии.

Грегори осознал, что типчик сделал паузу, словно ожидая ответа. Он ожидает ответа? Какие у него вообще есть права? Ладно, давай разберемся в этом субъекте.

– Брак – это единственное приключение, доступное трусливым.

– Да, ну так вы, конечно, поумнее меня, сэр, – ответил парикмахер тоном явно непочтительным. – Ну, университет и все такое.

Грегори опять только побряхтел.

– Конечно, я тут не судья, да только сдаётся мне, что университеты учат студентов презирать то, се, это куда больше, чем у них есть право. В конце-то концов, они нашими деньгами пользуются. Я только рад, что мой парень пошел в техническое училище. Ничего для него вредного. А теперь он хорошие деньги зарабатывает.

Угу, угу, в самый раз, чтобы содержать следующие две целые четыре десятых ребенка да обзавестись стиральной машиной чуть побольше и женой чуть менее курносой. Ну что же, для некоторых в самый раз. Чертова Англия. Впрочем, все это будет сметено. И такие вот места первыми исчезнут, снобистские старомодные заведения на основе господ – слуги, все эти искусственные разговорчики, классовые разделения, чаевые. Грегори не верил в чаевые. Он считал их укреплением дифференцированного общества, одинаково унижительными и для на чай дающего и на чай берущего. Они опошляли социальные отношения. В любом случае ему они не по карману. А сверх всего, чтоб ему провалиться, если он даст на чай цирюльнику, который обвинил его в задирании рубашки.

Этим не долго осталось. В Лондоне есть местечки, спланированные архитекторами, где звуковая система, последний писк, наяривает новейшие хиты, пока визажистик наслаивает твои волосы и подгоняет их под твою личность. Обходится это, надо думать, в целое состояние, но все-таки лучше, чем здесь. Неудивительно, что здесь пусто. Треснутый бакелитовый радиоприемник изливает танцевальную музыку, из которой песок сыплется. Им бы продавать бандажи, хирургические корсеты и лечебные чулки. Взять за рога рынок протезов. Деревянные ноги, стальные крючья вместо отрубленных кистей. Ну и парики, конечно. Почему парикмахеры не продают парики? Дантисты же торгуют вставными челюстями.

Сколько лет этому типу? Грегори посмотрел на него: костлявый, в глазах тоска, волосы пострижены до нелепости коротко и убрильянтинены в лоск. Сорок? Грегори прикинул. Женат двадцать семь лет. Значит, пятьдесят? Сорок пять, если он сделал ей подарочек, едва научился ширинку расстегивать. Если вообще у него смелости хватило. Волосы уже седеют. В паху, наверное, совсем поседали. А в паху они седеют?

Парикмахер покончил с фазой подстригания изгороди, оскорбительно сунул ножницы в стакан с дезинфицирующей жижей и взял другие с совсем тупыми концами. Щелк, щелк. Волосы, кожа, мышцы, кровь – все до черта близко. Цирюльники-операторы звались они в старину, когда оперирование означало кромсание. Красная полоска на традиционном шесте цирюльника символизировала полоску ткани, которая перетягивала вашу руку, когда цирюльник пускал вам кровь. А еще в его вывеске фигурировал тазик, в который стекала кровь. Теперь они все это бросили и захирели в парикмахеров. Садовые участки, землю ковыряют, а не вытянутую руку.

Он все еще не мог понять, почему Элли порвала с ним. Сказала, что он чересчур уж собственник, сказала, что ей нечем дышать: быть с ним – это словно состоять в браке. Смешно, ответил он. Быть с ней – это как жить с такой, которая гуляет одновременно еще с десятком других. Вот-вот, сказала она. Я тебя люблю, сказал он внезапно из чистого отчаяния. Он никогда еще никому этого не говорил и понял, что допустил промах. Говорить это следует, когда ты силен, а не слаб. Если бы ты меня любил, ты бы меня понимал, сказала она. Ну так

убывай, сказал он, продышись. Это же была просто ссора, просто дурацкая ссора, только и всего. И ровным счетом ничего не значила. Кроме того, что между ними все было кончено.

– Что-нибудь для волос, сэр?

– А?

– Что-нибудь для волос?

– Нет. Никогда не вмешивайтесь в природу.

Парикмахер вздохнул, будто последние двадцать минут только и делал, что вмешивался в природу, и в случае с Грегори это абсолютно необходимое вмешательство завершилось полным фиаско.

Впереди уик-энд. Новая стрижка, чистая рубашка. Две вечеринки. Сегодня вечером компанейское лакание пива. Налижись в доску и посмотри, что получится, – мой способ не вмешиваться в природу. Ох. Нет. Элли. Элли. Элли. Элли. Перетяни мою руку. Я протягиваю тебе оба запястья, Элли. Где захочешь. Не в лечебных целях, но вонзи его. Давай же, если хочешь. Пусти мне кровь.

– Как вы сейчас сказали про брак?

– А? Ну, это единственное приключение, доступное трусливым.

– Ну, если разрешите, так я скажу, сэр, что для меня брак всегда был лучше некуда. Ну, да вы, конечно, человек поумнее меня, университет там и прочее.

– Я цитировал, – сказал Грегори. – Но могу вас заверить, что авторитет в данном вопросе был человеком поумнее, чем мы оба.

– До того умный, что в Бога, надо полагать, не верил?

Да, до того умный, хотел сказать Грегори. Именно до того умный. Но что-то его удержало. У него хватало мужества отрицать Бога только в обществе собратьев-скептиков.

– А позвольте спросить, сэр, сам-то он был из женатых?

Хм. Грегори прикинул. Мадам вроде бы не было? Исключительно любовницы, да, конечно.

– Нет, по-моему, он не был из женатых, как вы выразились.

– Так, может, сэр, он тут не такой уж и эксперт?

В старину, думал Грегори, цирюльни пользовались дурной репутацией заведений, где собирались бездельники обмениваться последними новостями, где для развлечения клиентов играли лютни и виолы. И вот теперь все это возрождается. По крайней мере в Лондоне. Заведения, полные музыки и сплетен, управляемые визажистами, чьи фамилии упоминаются в светской хронике. Девушки в черных свитерах предварительно моют вам волосы. О-о! И не надо самому мыть волосы, перед тем как идти их стричь. Заходишь, щелкаешь пальцами и садишься с журналом в кресло.

Эксперт по бракам взял ручное зеркало и обеспечил Грегори двойной обзор своей работы. Вполне терпимо, не мог он не признать. По бокам коротко, сзади длинно. Не то что некоторые субчики в колледже, которые отращивают волосы во все стороны одновременно, плюс болотная чащоба бороды. Бакенбарды Старой Англии, сальные каскады от затылка, то, се и это. Нет, вмешивайтесь в природу самую чуточку, таков его истинный девиз. Постоянное перетягивание каната между природой и цивилизацией – вот что не дает нам загнить. Но, конечно, напрашивается вопрос, как ты определяешь природу и как ты определяешь цивилизацию. Это ведь не просто выбор между существованием лесного зверя и существованием буржуа. Это... ну... всякая всячина. Его пронзила тоска по Элли. Пустите мне кровь, потом перевяжите. Если он сумеет ее вернуть, то умерит свое собственничество. И ведь он-то ощущал это как просто близость, доказательство того, что они пара. И сначала ей это нравилось. Ну, во всяком случае, она не возражала.

Он осознал, что парикмахер все еще держит ручное зеркало.

– Да, – сказал он безразлично.

Зеркало было положено стеклом вниз. Паршивый нейлоновый балахон был совлечен. По его воротнику взад-вперед зашуршала щетка. Будто джазовый барабанщик мягко поглаживает свой барабан. Свош, свош. Впереди еще много жизни, верно?

Зал был пуст, радио все еще липко подвывало, но тем не менее голос возле самого его уха перешел почти на шепот:

– Что-нибудь на уик-энд, сэр?

Ему хотелось сказать угу, билет на поезд до Лондона, запись в салон «Видал Сассун», пакет копченых сосисок, ящик эля, немного сигарет с травкой, музыки, чтобы притупить мысли, и женщину, которой я по-настоящему нравлюсь. Но вместо этого он тоже почти перешел на шепот и сказал:

– Пачку «Фезерлайт», пожалуйста.

Вот так, все-таки став сообщником парикмахера, он вышел в яркое сияние дня, призывая уик-энд начаться.

3

Прежде чем отправиться в путь, он зашел в ванную, высвободил зеркало для бритья из кронштейна, повернул его обратной стороной вверх и достал ножницы для ногтей из своего туалетного мешочка. Сначала он подровнял несколько длинных щетинистых волос, выбившихся из бровей, затем чуть повернулся, чтобы свет очертил кустики, торчащие из ушей, и раза два щелкнул ножницами. В легкой депрессии он задрал нос и осмотрел входы в туннели. Ничего излишне длинного. Пока. Намочив кончик фланелевого рукава, он протер за ушами, пробобслеил по хрящеватым извилинам и в заключение поковырял в сернистых гортах. Когда он посмотрел на свое отражение, уши у него выглядели ярко-розовыми от надавливаний, будто он был перепуганным мальчишкой или студентом, робеющим поцелуев.

Как называется эта дрянь, которая теперь – белое пятно у тебя на рукаве? Сам он называл ее ушной коркой. Может, у врачей имеется для нее свой термин. А есть ли грибковое заболевание за ушами, слуховой эквивалент прели между пальцами ног? Наверяд ли. Место уж очень сухое. Ну так, может, сойдет ушная корка, и, может, у всех есть для нее свое название, и общего термина не требуется.

Странно, что все еще никто не придумал нового обозначения для тех, кто подстригает живые изгороди и превращает кусты и деревья в разные фигуры. Сначала цирюльники, потом парикмахеры. А когда, собственно, они изготовляли парики? «Визажисты»? Мишура. «Стилисты»? Чистый смех. Как и обозначение, которым он теперь пользовался с Элли. «Ну, я пошел в «Гнездо стрижа». Стриж. Стрижка. Волосы.

– Э... на три часа к Келли.

Ноготь цвета индиго спотыкается по ряду карандашных заглавных букв.

– Да. Грегори?

Он кивнул. В первый раз, когда он записывался по телефону, и у него спросили его имя, он ответил «Картрайт». Наступила пауза, и потому он сказал «мистер Картрайт», прежде чем понял причину паузы. Теперь он увидел себя снизу вверх в книге записей: «ГРЕГОРИ».

– Келли займется вами через минуту. Давайте-ка помоем вас.

После стольких лет он все еще не приспособился легко принимать нужную позу. Может быть, его позвоночник сдает. Глаза полузакрыты, нащупываешь затылком край раковины. Будто плывешь на спине и не знаешь, где конец бассейна. А потом лежишь – холодный фарфор поддерживает твою шею, горло обнажено. Снизу вверх в ожидании ножа гильотины.

Толстая девица с безразличными руками вела с ним обычный разговор («Не слишком горячо?», «Отдыхали где-то?», «Кондиционер?»), пока вяло пыталась согнутой ладонью оградить его уши от воды. С течением лет он выработал для «Гнезда стрижа» полуироничную пассивность. Когда в первый раз одна из этих краснорожих стажерок спросила: «Кондиционер?», он ответил: «А как вы считаете?», полагая, что вид сверху на его скальп позволяет ей лучше судить о его потребностях. Железная логика подсказывала, что нечто, называемое «кондиционер», может только улучшить кондицию ваших волос; с другой стороны, зачем задавать вопрос, если для ответа нет обоснованного выбора? Но просьбы посоветовать обычно только запутывали дело, обеспечивая осмотрительный ответ «Это как вы считаете». Ну, и он теперь удовлетворялся ответом «Да» или «Нет, не сегодня», как ему подвертывалось на язык. С учетом, насколько удачно она ограждала его уши от воды.

Она бережно подвела его назад к креслу, будто капли в волосах были равносильны слепоте.

– Чай? Кофе?

– Ничего, благодарю вас.

Ну, не совсем лютни и виолы или сборище бездельников, обменивающихся последними новостями. Зато бомбово грохочущая музыка, выбор напитков и приличный спектр журналов. Что случилось с «Ривейл» и «Тит-Битс», которые почитывали старые хрычи в те дни, когда он ежился на резиновой подушке? Он взял экземпляр «Мари-Клер», женский журнал из тех, какие и мужику не возбраняется читать на людях.

– Привет, Грегори. Как дела?

– Прекрасно. А у вас?

– Не жалуюсь.

– Келли, новая прическа – самое оно.

– Угу. Надоедает, знаете ли.

– Мне нравится. Выглядит отлично, хорошо держится. Вам нравится?

– Не уверена.

– Зря. Лучше не придумать.

Она улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Он это умеет – болтовня клиента, искренне и полуискренне. Ему потребовалось всего двадцать пять лет, чтобы обрести правильный тон.

– Так что у нас сегодня?

Он поглядел на нее вверх в зеркало. Высокая девушка, очень короткая стрижка, которая на самом деле ему не понравилась. Придает ее лицу угловатость. Но кто он такой, чтобы судить? Он и к собственным волосам равнодушен. С Келли можно было не напрягаться, она быстро усвоила, что он не любит, чтобы его спрашивали, как он отдыхал.

Когда он сразу не ответил, она сказала:

– Дадим себе волю и точно повторим то же, что в прошлый раз?

– Отличная мысль. – То же, что в прошлый раз, и в будущий, и в следующий за будущим.

В салоне царил непринужденная атмосфера палаты для выздоравливающих, где ни у кого ничего серьезного нет. Тем не менее она его не угнетала: опасения социального характера давно ушли в прошлое. Небольшие триумфы зрелости. «Итак, Грегори Картрайт, отчитайся нам в своей жизни по сей день». «Ну, я перестал бояться религии и парикмахеров». Он так и не присоединился к крестоносцам, чем бы они там ни были; он увернулся от жаркоглазых мессий в школе и университете; теперь он знал, что делать, когда по воскресеньям звонили в дверь.

«Ну, вот и Бог, – говорил он Элли. – Я открою». И на крыльце обнаруживалась подтянутая вежливая парочка, часто кто-то один в черном, иногда в сопровождении обаятельного ребенка и с неоспоримым зачином вроде: «Мы просто обходим дома и спрашиваем людей, тревожит ли их положение в мире». Фокус заключался в том, чтобы избежать правдивого «да» и напыщенного «нет», ведь тогда они получали багор, чтобы зацепить вас. А потому он одаривал их улыбкой домовладельца и делал переброску на от ворот поворот: «Религия?» И прежде чем они успевали сообразить, будет ли верным отреагировать на его безапелляционную отгадку твердым «да» или «нет», он завершал беседу энергичным: «Удачи у следующей двери».

Собственно говоря, ему даже очень нравилось, что волосы ему моют, но все остальное было просто избитым процессом. Телесные соприкосновения, неразрывная часть всего нынешнего, доставляли ему лишь слабое удовольствие. Келли ненароком прижимала бедро к его предплечью или задевала какой-нибудь другой частью тела, а излишне одетой она не бывала никогда. Раньше он бы подумал, что все это предназначено ему, и был бы благодарен простыне, драпировавшей его от паха до колен. Теперь это не отвлекло его от «Мари-Клер».

Келли рассказывала ему, что устраивается на работу в Майами. На туристических теплоходах. В плавании пять дней, неделю, десять дней, а потом отпуск на берегу тратить заработанные деньги. У нее там подруга. Вроде бы лучше некуда.

– Волнующе, – сказал он. – И когда вы уезжаете?

Он думал: в Майами же разгул насилия, так ведь? Стрельба. Кубинцы. Извращения. Ли Харви Освальд. Будет ли она в безопасности? Ну а сексуальные домогательства на туристических теплоходах? Она же миловидная девочка. Прошу прощения, «Мари-Клер», я подразумеваю «женщина». И все-таки, по-своему, девочка, раз пробуждает такие полуродительские мысли в ком-то вроде него. Таком, кто сидит дома, ходит на службу и подстригает волосы. Его жизнь, не отрицал он, была одним длинным трусливым приключением.

– Сколько вам лет?

– Двадцать СЕМЬ, – сказала Келли, словно это было завершающей окончательностью юности. Если немедленно чего-то не предпринять, ее жизнь будет запрограммирована навеки; еще пара недель превратит ее вон в ту старую хрычовку в бигуди в том конце салона.

– У меня дочь почти вашего возраста. То есть ей двадцать пять. То есть у нас есть еще одна. Всего две.

Он говорил что-то не то.

– Так сколько же времени вы женаты? – спросила Келли в квазиматематическом изумлении.

Грегори посмотрел на нее вверх в зеркале.

– Двадцать восемь лет.

Она ответила веселой улыбкой – чтобы кто-то состоял в браке колоссальную протяженность времени, равную ее собственной жизни!

– Старшая, разумеется, покинула родительский дом, – сказал он. – Но Дженни все еще с нами.

– Как хорошо, – сказала Келли, но он видел, что ей все надоело. И особенно он. Еще один старый хрыч с редющими волосами, которые скоро ему придется зачесывать более тщательно. Дайте мне Майами, и поскорее!

Он боялся секса. Вот в чем правда. Для чего он? Собственно говоря, теперь он уже этого не понимал. Получал удовольствие, когда это случалось. И полагал, что в грядущие годы секса будет становиться все меньше и меньше, пока он вовсе не исчезнет. Но боялся он не из-за этого. И без всякой связи с оглушающей детализацией, с какой об этом писалось в журналах. В дни его молодости у них имелась собственная оглушающая детализация. Все казалось абсолютно ясным и дерзновенным, когда он вставал в ванне и Элли забирала его в рот. Все это было самоочевидным и императивным в своей истинности. А теперь у него появились сомнения, а не всегда ли он тут заблуждался? Он не знал, для чего существует секс. И не думал, что кто-либо другой знает, но ситуации это не улучшало. Ему хотелось завять в зеркало и смотреть, как он воет в ответ.

Бедро Келли прижалось к его бицепсу, и не внешней, а внутренней стороной. По меньшей мере он знает ответ на один из своих детских вопросов: да, волосы в паху безусловно седеют.

Вопрос о чаевых его не тревожил. У него с собою двадцатифунтовая бумажка. Семнадцать за стрижку, один девочке, которая вымыла его волосы, и два – Келли. Ну и на случай, если цена повысилась, он не забывал захватить дополнительный фунт. Такой уж он, стало ему ясно. Человек с фунтом поддержки в кармане.

Келли закончила стрижку и стояла прямо позади него. Ее груди возникли по сторонам его головы. Она зажала волосы полубачков между большими и указательными пальцами, затем отвела глаза. Ее прием. Она как-то объяснила ему, что все лица чуть перекошены, и если судить на глазок, можно допустить ошибку. А она измеряет на ощупь, отворачиваясь в направлении кассы и улицы. В направлении Майами.

Убедившись, что все в порядке, она протянула руку за феном и нажимом пальца создала взбитость, которой полагалось сохраниться до ночи. Теперь она все делала автоматически,

вероятно прикидывая, не выкроится ли у нее время покурить снаружи, перед тем как ей подставят следующую влажную голову. Поэтому она всякий раз забывала и брала ручное зеркало.

Несколько лет назад он решился на дерзкую выходку. На мятеж против тирании чертова зеркала. Посещения цирюлен, парикмахерских и «Гнезд стрижей». Он всегда покорно соглашался, узнавал ли он свой затылок или нет. Он улыбался и кивал, и следил за тем, чтобы кивок, воспроизведенный наклоненным стеклом, облекался в слова: «Очень мило» или «Много аккуратнее», или «Благодарю вас». Если бы ему на затылке выстригли свастику, он скорее всего высказал бы свое одобрение. Затем в один прекрасный день он подумал: «Нет, я не хочу видеть затылок. Если спереди все в порядке, то, значит, и с затылком тоже. Это ведь не зазнайство, верно?» Он несколько гордился своей инициативой. Естественно, Келли всякий раз забывала, но это ничего не значило. Собственно говоря, и к лучшему: таким образом его робкая победа повторялась каждый раз заново. Теперь, когда она направилась к нему, мысленно в Майами, небрежно помахивая зеркалом, он поднял ладонь, выдал свою отработанную снисходительную улыбку и сказал:

– Нет.

История Матса Израельсона

4

Перед церковью с резным алтарем, вывезенным из Германии во время Тридцатилетней войны, тянулись в ряд шесть стойл, построенных из древесины пихт, срубленных и доспевших на расстоянии крика чайки от городских перекрестков; они не были ничем украшены и даже не пронумерованы. Однако их простота и видимая доступность были обманчивыми. В мыслях тех, кто ехал в церковь, а также тех, кто шел пешком, стойла были перенумерованы слева направо от первого до шестого, и они были закреплены за шестью самыми почтенными людьми в этих местах. Приезжий, вообразивший, будто он вправе привязать там лошадь на время, пока будет наслаждаться за Brännvinsbord⁵ в отеле «Центральный», вернувшись, обнаруживал, что его скакун бродит у пристани, взирая на озеро.

Владение каждым отдельным стойлом определялось частным выбором, либо через дарение, либо по воле, изъявленной в завещании. Но если внутри церкви некоторые скамьи оставались за некоторыми семьями из поколения в поколение, были они достойны их или нет, снаружи учитывались заслуги перед обществом. Отец мог по желанию передать стойло старшему сыну, но если молодой человек оказывался недостаточно солидным, дар этот бросал тень на отца. Когда Хальвар Брегген сошел в могилу при содействии аквавиты, легкомыслия и атеизма, передав владение третьим стойлом бродячему точильщику ножей, неодобрение пало на Бреггена, а не на точильщика, и стойло в обмен на несколько риксдалеров перешло к более заслуженному.

Никто не удивился, когда четвертое стойло было присуждено Андерсу Бодену. Управляющий лесопильней отличался трудолюбием, отсутствием легкомыслия и преданностью своей семье. Пусть он и не был слишком набожным, пусть он не щеголял излишком благочестия, но не скупился на благие дела. Как-то осенью, когда охота была отличной, он заполнил одну из опилочных ям обрезками досок, положил сверху металлическую решетку и изжарил оленя, а мясо раздал своим рабочим. Хотя он не был уроженцем города, но ревностно показывал его достопримечательности приезжим. Поддаваясь его настояниям, приезжие взбирались на klockstapel рядом с церковью. Прислонясь плечом к звоннице, Андерс указывал им на кирпичный завод, и на приют глухонемых с колокольной, и на невидимую оттуда статую, отмечающую место, где в 1520 году Густав Ваза держал речь перед далекарлианцами. Крупного сложения, бородатый, полный энтузиазма, он даже предлагал им совершить паломничество на Хёкберг, обозреть камень, недавно установленный там в память юриста Йоханнеса Стёрнбока. В отдалении паром прочерчивал озеро, внизу, всем довольная в своем стойле, ждала его лошадь.

По намекам сплетен, Андерс Боден уделял столько времени приезжим потому, что это оттягивало его время возвращения домой; сплетни напоминали, что в первый раз, когда он попросил Гертруд выйти за него, она рассмеялась ему в бороду и разглядела его достоинства только после своего разочарования в любви к сыну Маркелиуса; сплетни предполагали, что переговоры, когда отец Гертруд пришел к Андерсу и предложил ему возобновить свои ухаживания, были очень непростыми. Ведь в первый раз управляющего лесопильней заставили почувствовать, что с его стороны было наглостью искать руки девушки такой талантливой и артистичной, как Гертруд, которая как-никак играла фортепьянные дуэты со Съёргеном. Но брак процветал, насколько могли судить сплетни, пусть она и не раз во время всяких торжественных случаев называла его надоедой. У них родилось двое детей, и акушер, принимав-

⁴ The Story of Mats Israelson © Перевод. И. Гурова, 2006

⁵ Стойка (швед.).

ший вторые роды, предупредил госпожу Боден, что ей следует воздержаться от следующих беременностей.

Когда провизор Аксель Линдвалл и его супруга Барбро приехали в город, Андерс Боден поднялся с ними на klockstapel и предложил сводить их на Хёкберг. Когда он вернулся домой, Гертруд спросила его, почему он не носит значка Шведского союза туристов.

– Потому что я в нем не состою.

– Им следует сделать тебя почетным членом, – отозвалась она.

Андерс давно научился противопоставлять сарказмам жены педантичность, отвечать на ее вопросы так, словно их смысл исчерпывался прямым значением слов. Это раздражало ее еще больше, но для него было необходимой отдушиной.

– Они, видимо, приятные люди, – сообщил он.

– Тебе все нравятся.

– Нет, любовь моя, не думаю. – Он подразумевал, что в настоящий момент она ему не нравится.

– Ты более взыскателен к бревнам, чем к представителям рода человеческого.

– Бревна, любовь моя, очень отличаются друг от друга.

Прибытие Линдваллов в городок особого интереса не вызвало. Те, кто искал у Акселя профессиональных советов, находили все, что только могли надеяться найти в провизоре: неторопливого серьезного человека, который лестно подтверждал, что все недуги, на которые жаловались страдалцы, опасны для жизни и в то же время вполне излечимы. Он был белобрысым коротышкой, и сплетни бились об заклад, что он растолстеет. Госпожа Линдвалл вызвала меньше пересудов, так как не была угрожающе миловидной или жалкой дурнушкой, вульгарной или элегантной в манере одеваться, развязной или замкнутой в манере себя вести. Она была просто новой женой, а потому ей следовало ждать, пока до нее дойдет очередь. Новоприбывшие Линдваллы жили замкнуто, как и надлежало, однако регулярно ходили в церковь, как тоже надлежало. Сплетни утверждали, что Барбро, когда Аксель впервые помог ей спуститься в гребную лодку, которую они купили в то лето, опасливо спросила у него: «Ты уверен, Аксель, что в озере нет акул?» Но сплетни по-честному не брались категорически утверждать, что госпожа Линдвалл не пошутила.

Раз в две недели Андерс Боден по четвергам отправлялся на пароходе в дальний конец озера проверить, как доспевает древесина. Он стоял у перил напротив каюты первого класса, когда вдруг заметил чье-то присутствие.

– Госпожа Линдвалл! – И при этих словах вспомнил, как его жена говорила: «Подборка у нее не больше, чем у белки». Смутившись, он поглядел на берег и сказал: – Вон там кирпичный завод.

– Да.

И минуту спустя:

– А вон приют для глухонемых.

– Да.

– Конечно. – Он осознал, что уже показывал ей их с klockstapel.

На ней была соломенная шляпа с голубой лентой.

Две недели спустя она вновь оказалась на пароходе. Ее сестра жила сразу же за Рётвиком. Он осведомился, посетили ли она и ее супруг погреб, где когда-то Густав Ваза прятался от своих датских преследователей. Он объяснил про лес, как его окраска и текстура меняются от одного времени года к другому, и как, даже с парохода, он может определить, какие в нем ведутся разработки, а вот другие увидели бы только стену деревьев. Она вежливо сле-

дила за его указующей рукой; пожалуй, и правда, в профиль подбородок у нее был чуточку срезан, а кончик носа странно подвижен. Он понял, что так и не научился разговаривать с женщинами, но прежде это никогда его не смущало.

– Извините, – сказал он. – Моя жена утверждает, что мне следовало бы носить значок Шведского союза туристов.

– Мне нравится, когда мужчина говорит мне то, что знает, – ответила госпожа Линдвалл.

Ее слова сбили его с толку. Критика по адресу Гертруд – желание подбодрить его или просто констатация факта?

За ужином в тот день его жена сказала:

– О чем ты разговаривал с госпожой Линдвалл?

Он не знал, что ответить или, вернее, как ответить. Но по привычке укрылся за простейшим значением ее слов и сделал вид, будто вопрос его не удивил:

– Про лес. Я объяснял лес.

– И она заинтересовалась? Лесом, имею я в виду?

– Она родилась в городе и прежде не видела такого количества деревьев.

– Ну, – сказала Гертруд, – в лесу ведь ужасно много деревьев, верно, Андерс?

Ему хотелось сказать: она проявила к лесу много больше интереса, чем когда-либо ты. Ему хотелось сказать: ты несправедлива к ее внешности. Ему хотелось сказать: а кто видел, как я разговаривал с ней? Но он ничего этого не сказал.

В следующие две недели он ловил себя на мысли, что Барбро – имя прелестной весомости и звучит нежнее, чем... другие имена. Он думал, что от голубой ленты, обвивающей соломенную шляпу, у него веселеет на сердце.

Утром во вторник, когда он уходил, Гертруд сказала:

– Кланяйся от меня крошке госпоже Линдвалл.

Ему внезапно захотелось сказать: «А что, если я влюблюсь в нее?» Он ответил вместо этого:

– Непременно, если я ее увижу.

На пароходе он лишь с трудом выдержал медленный темп обычного обмена приветствиями и принялся рассказывать ей то, что знал, еще прежде, чем они отчалили. О древесине, как она растет, перевозится, распиливается. Он упомянул во всех подробностях нетипичную распиловку и распиловку на четверти. Он объяснил про три части, составляющие древесины: луб, ядро и заболонь. У деревьев, достигших зрелости, большую часть ствола занимает ядро, а заболонь крепка и эластична.

– Дерево подобно человеку, – сказал он. – Ему требуется семьдесят лет, чтобы достичь полной зрелости, а после ста оно уже ни на что не пригодно.

Он рассказал ей, как однажды в Бергенфорсене, где металлический мост перекинут через быстрины, он наблюдал за работой четырехсот человек: они перехватывали плывущие бревна и направляли их в *sorteringsbomma*, следуя четким меткам их владельцев. Он как знаток объяснил ей различные системы маркировки. Шведские бревна метят красными буквами, а некондиционную древесину – голубыми. Норвежские бревна метятся с обоих концов синими инициалами отправителя. Прусские бревна надписываются по бокам, ближе к середине. Русские – штампуются с обоих концов. Канадские бревна несут черно-белые метки. А американские метятся красным мелом по бокам.

– Вы все это видели? – спросила она.

Он признался, что североамериканских бревен своими глазами не видел, а только читал о них.

– Так, значит, каждый знает свое бревно? – спросила она.

– Конечно. Иначе ведь можно присвоить чужое.

Он не мог решить, не смеется ли она над ним – и даже над всем миром мужчин.

Внезапно на берегу что-то сверкнуло. Она вопросительно повернулась к нему, и при взгляде анфас особенности ее профиля обрели гармонию: маленький подбородок сделал заметными губы, кончик носа, широко открытые серо-голубые глаза... они превосходили любое описание, даже превосходили восхищение. Он ощутил себя очень умным, отгадав, о чем спрашивают ее глаза.

– Там есть бельведер. Вероятно, кто-то с подзорной трубой. Мы под наблюдением. – Но произнося последнее слово, он утратил уверенность. Оно прозвучало так, будто его произнес кто-то другой.

– Почему?

Он не знал, что ответить. И отвел глаза на берег, где бельведер опять блеснул. Растерявшись, он рассказал ей историю Матса Израельсона, но рассказал путано и слишком быстро, и она словно бы не заинтересовалась. Даже, кажется, не поняла, что все это правда.

– Простите, – сказала она, словно почувствовав его разочарование. – У меня почти нет воображения. Меня интересует только то, что происходит на самом деле. Легенды кажутся мне... глупыми. В нашей стране их чересчур много. Аксель бранит меня за это мнение. Он говорит, что я не воздаю должное моей родине. Он говорит, что меня сочтут эмансипированной женщиной. Но это не так. Просто у меня почти нет воображения.

Андерса эти неожиданные слова успокоили. Она как будто подсказывала ему и вела. Все еще глядя на берег, он рассказал ей, как однажды побывал на медных рудниках в Фалуна. Он рассказывал ей только о том, что есть на самом деле. Он рассказал ей, что это крупнейшее в мире месторождение меди, исключая озеро Верхнее; что оно разрабатывалось с тринадцатого века; что входы расположены вблизи от места колоссального опускания породы, известного как Stöten, которое произошло в конце семнадцатого века; что глубина самой глубокой шахты равна 1300 футов; что в настоящее время годовая добыча составляет около 400 тонн меди, помимо небольшого количества серебра и золота; что за вход берут два риксдалера, а за выстрелы доплата.

– За выстрелы?

– Чтобы вызвать эхо.

Он рассказал ей, что посетители обычно заранее телефонируют на рудник из Фалуна о своем приезде; что их снабжают шахтерской одеждой и их сопровождает шахтер; что при спуске ступеньки освещаются факелами; что стоит это два риксдалера. Это он ей уже говорил. Ее брови, заметил он, были очень густыми и темнее, чем волосы на голове. Она сказала:

– Мне хотелось бы съездить в Фалун.

Вечером он заметил, что Гертруд была на взводе. В конце концов она сказала:

– Жена имеет право на предусмотрительную осторожность мужа, когда он устраивает randevu со своей любовницей. – Каждое существительное брякало, будто мертвый лязг с колокольни.

Он только поглядел на нее. Она продолжала:

– Ну хотя бы я должна быть благодарна за твою наивность. Другие мужчины по меньшей мере выждали бы, чтобы пароход скрылся из вида, прежде чем начать нежничать.

– Ты бредишь, – сказал он.

– Не будь мой отец в первую очередь деловым человеком, – отпаривала она, – он бы тебя пристрелил.

– Ну, в таком случае твой отец должен радоваться тому, что муж госпожи Альфредссон, который держит konditori за церковью в Рётвике, тоже в первую очередь деловой человек.

Слишком длинная фраза, почувствовал он, но она сделала свое дело.

В эту ночь Андерс Боден собрал все оскорбления, которые получал от своей жены, и сложил их так же аккуратно, как бревна в штабель. Если она может верить в такое, думал он, значит, это то, что может произойти. Но только Андерс Боден не нуждался в любовнице, он не нуждался в какой-нибудь женщине в кондитерской, которой делал бы подарки и которой хвастал бы в комнатах, где мужчины вместе курят тонкие сигары. Он подумал: конечно, теперь я вижу, факт тот, что я полюбил ее с нашей первой встречи на пароходе. Я бы так рано не понял этого, если бы Гертруд не помогла мне. Мне и в голову не приходило, что из ее сарказмов может выйти толк, но на этот раз произошло именно так.

Следующие две недели он не позволял себе мечтать. Ему не требовалось мечтать, потому теперь все было ясно, реально и решено. Он занимался своей работой, а в свободные минуты думал о том, как она осталась равнодушной к истории Матса Израельсона. Она сочла это легендой. Он, конечно, рассказал плохо. И он начал практиковаться, как задалбливающий стихотворение школьник. Он ей расскажет снова, и на этот раз она поймет, что это действительно было. История не такая уж длинная. Но важно, чтобы он научился рассказывать ее так, как он описал посещение рудника.

В 1719 году, начал он с некоторым опасением, что столь давняя дата наведет на нее скуку, однако полагая, что даты придают истории подлинность. В 1719 году, начал он, стоя на пристани в ожидании обратного парохода, в медной шахте Фалуна был найден труп. Труп, продолжал он, глядя на линию берега, принадлежал юноше, Матсу Израельсону, который погиб в руднике за сорок девять лет до этого. Труп, сообщил он чайкам, которые с пронзительными криками инспектировали пароход, сохранился безупречно. Причина, подробно объяснял он бельведеру, приюту для глухонемых, кирпичному заводу, заключалась в том, что пары медного купороса препятствуют разложению. Они знали, что труп принадлежал Матсу Израельсону, пробормотал он матросу, ловившему на пристани брошенную чалку, так как его опознала дряхлая карга, когда-то его знавшая. За сорок девять лет до этого, заключил он, на этот раз беззвучным шепотом в жаркой бессоннице, пока его жена мягко порывивала рядом с ним и сквозняк хлопал занавеской, когда Матс Израельсон исчез, старуха, тогда такая же юная, как он, была его невестой.

Она, вспоминал он, стояла лицом к нему с рукой на перилах, так что ее обручальное кольцо было хорошо видно, и сказала очень просто: «Мне бы хотелось съездить в Фалун». Он вообразил, как другие женщины говорят ему: «Я изнываю по Стокгольму». Или: «По ночам я грежу о Венеции». Это были бы вызывающие женщины в столичных мехах, и их интересовал бы только один ответ – боязливое благоговение сдернутых шляп. Но она сказала: «Мне бы хотелось съездить в Фалун», и простота этих слов лишила его сил ответить. Он практиковался, чтобы сказать с равной простотой: «Я свожу вас туда».

Он убедил себя, что, верно рассказав историю Матса Израельсона, побудит ее еще раз сказать: «Мне бы хотелось съездить в Фалун», и тогда он ответит: «Я свожу вас туда». И все будет решено. И он работал над историей, пока она не обрела форму, которая ей понравится – простую, жесткую, истинную. Он ей расскажет ее через десять минут после отчаливания на, как он уже мысленно называл его, их месте у перил напротив каюты первого класса. Он в заключительный раз пробежал историю, когда вышел на пристань. Был первый четверг месяца июня. Надо быть точным с датами. Начать 1719-м и кончить первым вторником июня этого года, от Рождества Христова 1898. Небо было ясным, озеро чистым, чайки предусмотрительно осторожными, лес на склоне за городом полон деревьев, таких же прямых и честных, как человек. Она не пришла.

Сплетни заметили, что госпожа Линдвалл не явилась на randevу с Андерсом Боденом. Сплетни предположили ссору. Сплетни контрпредположили, что они решили прятаться. Сплетни прикидывали, действительно ли управляющий лесопильней, имеющий счастье состоять в браке с женщиной, владелицей рояля, выписанного из Германии, способен положить глаз на ничем не примечательную жену фармацевта. Сплетни ответили, что Андерс Боден всегда был мужланом с опилками в волосах и что его просто тянет к женщинам одного с ним сословия, как это водится за мужланами. Сплетни добавили, что в доме Бодена супружеские отношения после рождения их второго ребенка не возобновлялись. Сплетни было прикинули, не сочинили ли всю историю сами сплетни, однако сплетни решили, что наихудшее истолкование событий обычно бывает самым безопасным, а в конечном счете и самым истинным.

Сплетни прекратились или, во всяком случае, поутихли, когда было установлено, что причина, почему госпожа Линдвалл не поехала навестить сестру, заключалась в том, что она забеременела первым ребенком Линдваллов. Сплетни сочли это счастливой случайностью, спасшей поколебавшуюся репутацию Барбро Линдвалл.

Вот так, подумал Андерс Боден. Открылась дверь и снова закрылась, прежде чем ты успел войти в нее. Человек распоряжается собой не больше, чем бревно, помеченное красными буквами, которое сталкивают назад в бешеный поток люди, вооруженные баграми с острыми концами. Может быть, он такой, как они говорят, и не больше: мужлан, которому выпала удача жениться на женщине, игравшей фортепьянные дуэты со Съегреном. Но если так и если с этой минуты его жизнь уж никогда не изменится, то и он тоже, понял он. Останется замороженным, законсервированным в этом моменте... нет, в моменте, который чуть было не сбылся, мог сбыться на прошлой неделе. И никто в мире, жена ли, церковь ли, общество – ничего не могут сделать, чтобы помешать ему решить, что его сердце больше никогда не дрогнет.

Барбро Линдвалл не была убеждена в своих чувствах к Андерсу Бодену, пока не признала, что теперь свою оставшуюся жизнь она проведет с мужем. Сначала был маленький Ульф, а год спустя – Карен. Аксель надышаться на детей не мог, и она тоже. Быть может, это окажется достаточным. Ее сестра переехала далеко на север, где растет морошка, и каждый сезон присылала ей банки желтого варенья. Летом они с Акселем плавали на лодке по озеру. Он предсказуемо толстел. Дети росли. Как-то весной рабочий с лесопильни выплыл под нос парохода, его разрезало, и вода покраснела так, будто его перекусила акула. Пассажир на фордеке показал, что до последней секунды погибший плыл прямо и уверенно. Сплетни утверждали, что люди видели, как жена погибшего ходила в лес с одним из его товарищей. Сплетни добавляли, что он был пьян и побился об заклад, что проплывет прямо перед носом парохода. Следователь постановил, что он, очевидно, оглох от воды, залившей ему уши, и определил происшедшее как несчастный случай.

Мы просто лошади в наших стойлах, говорила себе Барбро. Стойла не пронумерованы, но мы все равно знаем свое место. Другой жизни нет.

Но если бы только он сумел прочесть мое сердце прежде меня. Я не разговариваю с мужчинами так, не слушаю их так, не гляжу им в лицо так. Почему он не сумел понять?

Когда она снова его увидела, и он, и она составляли часть пары, прогуливавшейся у озера после церковной службы, и ее беременность принесла ей облегчение, потому что десять минут спустя у нее был приступ рвоты, и иначе причина была бы очевидной. А пока ее рвало в траву, она могла думать только о том, что пальцы, поддерживавшие ее лоб, принадлежат не тому мужчине.

Она больше никогда не встречалась с Андерсом Боденом наедине, она этого не допускала. Как-то раз, увидев, что он поднялся на пароход впереди нее, она вернулась на при-

стань. В церкви она иногда видела его затылок и воображала, что различает его голос среди остальных. Когда она выходила из дома, то предохранялась присутствием Акселя, дома она не отпускала от себя детей. Как-то раз Аксель предложил пригласить Боденов на кофе; она ответила, что госпожа Боден, конечно, будет рассчитывать на мадеру и кремовый торт, но даже если предложить ей их, она все равно будет щуриться на всего лишь провизора и его жену, а тем более приезжих. Предложение это не повторялось.

Она не знала, как, собственно, думать о том, что произошло. Спросить было некого; она подыскивала подходящие параллели, но все они были сомнительными и, казалось, не имели ничего общего с ее случаем. Она была не подготовлена к постоянной, безмолвной, тайной боли. Однажды, получив от сестры варенье из морошки, она посмотрела на банку, на стекло, на металлическую крышку, на кружок кисеи, на написанный от руки ярлык и дату – дату! – и на объединитель всего этого, на желтое варенье, и подумала: вот что я сделала с моим сердцем. И с тех пор каждый год, получая банки, она думала то же самое.

Вначале Андерс продолжал рассказывать ей беззвучным шепотом все, что он знал. Иногда он был гидом, иногда управляющим лесопильней. Он, например, мог рассказать ей про «Недостатки древесины». «Растреск-чаша» – естественное растрескивание между годовыми кольцами. «Растреск-звезда», когда трещины расходятся радиально в нескольких направлениях. «Растреск-сердце» часто обнаруживается в старых деревьях и тянется от сердцевины ствола к его окружности.

В последующие годы, когда Гертруд упрекала, когда аквавита обретала власть над ним, когда вежливые глаза говорили ему, что он действительно стал надоедой, когда озеро замерзло у берегов и в Рётвике устраивались конькобежные состязания, когда его дочь вышла из церкви замужней женщиной и он увидел в ее глазах больше надежды, чем ему представлялось возможным, когда наступали длинные ночи и его сердце словно замыкалось в зимней спячке, когда его лошадь внезапно останавливалась и дрожала, чувствуя что-то, чего не могла видеть, когда старый пароход как-то на зиму поставили в сухой док и покрасили заново, когда друзья из Трондхейма попросили показать им медные рудники в Фалуне и он согласился, а затем, за час до отъезда засунул себе пальцы в глотку, чтобы рвота вырвалась наружу, когда пароход провозил его мимо приюта для глухонемых, когда в городе происходили перемены, когда все в городе оставалось прежним из года в год, когда чайки покидали свои посты у пристани, чтобы кричать у него в голове, когда его левый указательный палец был ампутирован по второй сустав после того, как он на складе зачем-то дернул доски в штабеле, – во всех этих случаях и во многих-многих других он думал о Матсе Израэльсоне. И с течением лет Матс Израэльсон превратился из набора ясных фактов, который можно было бы преподнести как дар любви, в нечто смутное, но более сильное. В легенду, быть может. В то, что ей было бы неинтересно.

Она сказала: «Мне хотелось бы съездить в Фалун», и ему требовалось лишь ответить: «Я свожу вас туда». Быть может, если бы она действительно сказала на манер этих флиртующих женщин: «Я изнываю по Стокгольму» или «По ночам я грежу о Венеции», он бросил бы ей свою жизнь, купил бы железнодорожные билеты на следующее же утро, вызвал бы скандал, а месяцы и месяцы спустя вернулся домой пьяный и испрашивая прощения. Но он не был таким, потому что она не была такой. «Мне хотелось бы съездить в Фалун» – было куда более опасной фразой, чем «По ночам я грежу о Венеции».

По мере того как годы шли и ее дети выросли, Барбро Линдвалл порой поражало жуткое предчувствие: что, если ее дочь выйдет замуж за сына Бодена? Это, думала она, было бы самой страшной карой в мире. Но в свой срок Карен прилепилась к Бо Викандеру и не слушала никаких уговоров. Вскоре все боденские и линдвалльские дети вступили в браки.

Аксель стал толстяком, который кряхтел у себя в аптеке и втайне побаивался, как бы ненароком не отравить кого-нибудь. Гертруд Боден поседела и после легкого апоплексического удара могла играть на рояле только одной рукой. Сама Барбро сначала тщательно выщипывала седые волоски, потом красилась. То, что свою фигуру она сохранила почти без помощи корсета, казалось ей насмешкой.

– Тебе письмо, – сказал ей Аксель однажды днем. Неопределенно. И протянул ей конверт. Незнакомый почерк, штемпель Фалуна.

«Дорогая госпожа Линдвалл, я тут в больнице. Есть одно дело, которое мне очень хотелось бы обсудить с вами. Не могли бы вы навестить меня как-нибудь в среду? Искренне ваш, Андерс Боден».

Она протянула ему письмо и смотрела, как он его читает.

– Ну? – сказал он.

– Мне хотелось бы съездить в Фалун.

– Конечно.

Он подразумевал: конечно, хотелось бы, сплетни всегда называли тебя его любовницей; я никогда уверен не был, но, конечно, мне следовало бы догадаться, чем объяснялось твое внезапное охлаждение и все эти годы рассеянности; конечно, конечно. Но она услышала только: конечно, ты должна.

– Благодарю тебя, – сказала она. – Я поеду на поезде. Возможно, придется там переночевать.

– Конечно.

Андерс Боден лежал в кровати, обдумывая, что он скажет. Наконец-то после всех этих лет – двадцати трех, если быть точным, – они увидели почерк друг друга. Этот обмен, этот новый беглый взгляд друг на друга был интимнее поцелуя. Ее почерк был мелким, четким, выработанным в школе и ничем не выдавал возраста. Он подумал коротко о всех письмах, которые мог бы получить от нее.

Сначала он представлял себе, что может просто рассказать ей историю Матса Израельсона еще раз в отшлифованном им варианте. И тогда она узнает и поймет. Но поймет ли? Только потому, что история эта была с ним каждый день более двух десятилетий, еще не значит, что она сохранилась у нее в памяти. И тогда она может счесть ее хитростью или розыгрышем, и все пойдет не так.

Но важно не сказать ей, что он умирает. Не обременить ее незаслуженным грузом. Хуже того: жалость может толкнуть ее изменить ответ. Он тоже хотел правды, а не легенды. Сестер он предупредил, что его приезжает навестить близкая родственница, но из-за хрупкости ее сердца ей ни в коем случае нельзя говорить о его состоянии. Он попросил сестер подстричь ему бороду и причесать его. А когда они ушли, втер в десны немножко зубного порошка и спрятал покалеченную руку под одеяло.

В момент получения письма ей это показалось само собой разумеющимся, а если и нет, то по меньшей мере неоспоримым. Впервые за двадцать три года он попросил ее о чем-то; поэтому муж, которому она всегда была верна, должен дать согласие. Он так и сделал, но с этого момента ясность начала утрачиваться. Что ей надеть в поездку? Для подобного случая словно бы общепринятой одежды не существует, это ведь не праздник и не похороны. На станции кассир повторил «Фалун», а начальник станции посмотрел на ее чемодан. Она ощущала себя абсолютно уязвимой – стоит кому-то подтолкнуть ее, и она начнет растолковывать свою жизнь, свои цели, свою добродетельность. «Я еду к умирающему, – сказала бы она. – Без сомнения, у него есть что-то сказать мне на прощание». Ведь в этом суть, верно? Что он

умирает? Иначе тут нет смысла. Иначе он бы дал о себе знать, когда последний из их детей покинул родительский кров, когда она и Аксель снова стали просто супружеской парой.

Она сняла номер в городском отеле вблизи рыночной площади. Вновь она почувствовала, что портфель разглядывает ее чемодан, ее семейное положение, ее побуждения.

– Я приехала навестить друга в больнице, – сказала она, хотя никакого вопроса ей задано не было.

У себя в номере она оглядела железное полукружье в изголовье кровати, матрас, новенький гардероб. Никогда еще она не останавливалась в отеле одна. Вот куда приходят женщины, вдруг поняла она – некоторые женщины. Ей почудилось, что сплетни видят ее сейчас – одну в номере с кроватью. Казалось поразительным, что Андерс Боден вызвал ее без всяких объяснений.

Ее уязвимость начала маскироваться под раздражение. Что она тут делает? Что он заставляет ее делать? Она вспомнила книги, которые читала – которые Аксель не одобрял. В книгах упоминались сцены в гостиничных номерах. В книгах пары убегали вместе – но не когда кто-то из них лежал в больнице. В книгах были надрывающие душу сцены бракосочетаний на смертном одре – но не когда один был еще женат, а другая была еще замужем. Так что же произойдет? «Есть одно дело, которое мне очень хотелось бы обсудить с вами». Обсудить?! Она женщина на пороге старости, которая везет банку варенья из морошки в подарок человеку, с которым была кратко знакома двадцать три года назад. Ну, это он обязан все разъяснить. Он же мужчина, а она уже сделала больше, чем от нее требовалось, просто приехав сюда. Она ведь не случайно оставалась порядочной замужней женщиной все эти годы.

– Вы похудели.

– Они говорят, мне это идет, – ответил он с улыбкой.

Под «они» он, очевидно, подразумевал «моя жена».

– Где ваша жена?

– Она посещает в другие дни.

Что, разумеется, хорошо понимают больничные сестры. О, жена посещает его в эти дни, а «она» посещает его за спиной у жены.

– Я думала, вы тяжело больны.

– Нет-нет, – ответил он бодро. Она казалась очень настороженной... да, не возразишь, немножко как белка – такие встревоженные прыгающие глаза. Ну, он должен успокоить ее, утешить. – Со мной все хорошо. Будет хорошо.

– Я думала... – Она умолкла. Нет, между ними все должно быть ясно. – Я думала, вы умираете.

– Я протяну дольше любой сосны на Хёкберге.

Он сидел и ухмылялся. Борода у него была только что подстрижена, волосы модно причесаны; так, значит, он вовсе не при смерти, а его жена в другом городе. Она молча ждала.

– Вон там крыша Кристин-кирки.

Она отвернулась, подошла к окну и поглядела на церковь. Пока Ульф был маленьким, ей всегда полагалось поворачиваться к нему спиной, прежде чем он сообщал ей секрет. Может быть, Андерсу Бодену требуется то же. А потому она глядела на медную крышу, пылающую под солнцем, и ждала. В конце-то концов, он же мужчина.

Ее молчание и повернутая к нему спина испугали его. Он представлял себе это совсем не так. Он даже не сумел назвать ее Барбро, непринужденно, будто из далекого прошлого. Что она когда-то сказала? «Мне нравится, когда мужчина говорит мне то, что знает».

– Церковь была построена в середине девятнадцатого века, – начал он. – Я точно не уверен, когда именно. – Она не откликнулась. – Крыша изготовлена из меди, добытой в местном

руднике. – Опять никакого отклика. – Но я не знаю, была ли крыша сконструирована одновременно с постройкой церкви или это более позднее добавление. Я намерен это выяснить, – добавил он, стараясь, чтобы это прозвучало целеустремленно. Она опять ничего не сказала. И он слышал только голос Гертруд, нашептывающий: «Значок Шведского союза туристов».

Гнев Барбро теперь был обращен и на нее тоже. Конечно, она никогда его не знала, никогда не знала, какой он на самом деле. Все эти годы она просто баловала себя девичьими фантазиями.

– Так вы не умираете?

– Я протяну дольше любой сосны на Хёкберге.

– Значит, вы достаточно здоровы, чтобы прийти в мой номер в городском отеле. – Она сказала это как могла жестче, с презрением ко всему миру мужчин с их сигарами, и любовницами, и бревнами, и тщеславными дурацкими бородами.

– Госпожа Линдвалл... – Ясность мысли покинула его. Он хотел сказать, что любит ее, что всегда любил ее, что думал о ней почти все... нет, все время. «Я думаю о вас почти все... нет, все время», – вот что он приготовился сказать. А потом: «Я полюбил вас с той минуты, когда встретился с вами на пароходе. С тех пор вы были стержнем моей жизни».

Но ее раздражение лишило его смелости. Она считает его просто соблазнителем. И слова, которые он приготовил, покажутся словами соблазнителя. В конце-то концов, он совсем ее не знает. И он не знает, как разговаривать с женщинами. Его взбесило, что повсюду есть мужчины, вкрадчивоязычные мужчины, которые знают, что именно следует сказать женщине. Да ну же, покончи с этим, внезапно подумал он, заражаясь ее раздражением. Ты же все равно скоро будешь мертв, так покончи с этим.

– Я думал, – сказал он, и тон его был жестко агрессивным, как у торгующегося покупателя. – Я думал, госпожа Линдвалл, что вы меня любили.

Он увидел, как напряглись ее плечи.

– А! – отозвалась она. Тщеславие этого мужчины! Какое ложное представление о нем хранила она все эти годы как о человеке корректном, тактичном, с почти заслуживающей осуждения неспособностью высказать свои чувства. А на самом деле он был просто еще одним мужчиной и вел себя как мужчины в книгах, а она была просто еще одной женщиной, верившей, будто это не так.

Все еще спиной к нему, она ответила так, словно он был маленьким Ульфом с очередным детским секретом.

– Вы ошибались.

Затем она обернулась к этому жалкому ухмыляющемуся денди, к этому мужчине, который, несомненно, знал дорогу в номера отелей.

– Но благодарю вас, – она была не сильна в сарказмах и запнулась, подыскивая предлог, – благодарю вас за то, что вы показали мне приют для глухонемых.

Она подумала, не забрать ли варенье из морошки, но сочла это неподобающим. Еще можно успеть на вечерний поезд. Мысль о том, чтобы провести ночь в Фалуне, была ей омерзительна.

* * *

Долгое время Андерс Боден не думал. Он смотрел, как медная крыша потемнела. Он выпростал покалеченную руку из-под одеяла и с ее помощью растрепал себе волосы. Он подарил банку варенья первой заглянувшей в палату сестре.

Среди того, чему научила его жизнь и на что он, как надеялся, мог положиться, было правило: большая боль стирает меньшую. Растяжение исчезает перед зубной болью, зубная

боль исчезает перед раздробленным пальцем. И он надеялся – и теперь это была его единственная надежда, – что боль рака, боль умирания изгонит боль любви. Но вряд ли.

Когда сердце разрывается, подумал он, оно рвется, как древесина, по всей длине доски. В первые свои дни на лесопильне он видел, как Густав Олсон брал толстую доску, вбивал клин и чуть-чуть клин поворачивал. Древесина раскалывалась по волокну из конца в конец. Вот и все, что нужно знать о сердце: направление волокна. Затем одним поворотом, будь то жест, будь то слово, вы можете его уничтожить.

Когда наступил вечер и поезд начал огигать темнеющее озеро, на котором все началось, она, по мере того как ее стыд и самоупреки пошли на убыль, попыталась мыслить ясно. Это был единственный способ укротить боль: думать ясно, интересоваться только тем, что произошло на самом деле, тем, что, как ты знала, было правдой. А знала она вот что: человек, ради кого она в любую минуту за последние двадцать три года оставила бы мужа и детей, ради кого она потеряла бы свою репутацию и положение в обществе, с кем она бы убежала только богу известно куда, не был и никогда не будет достоин ее любви. Аксель, кого она уважает, кто был хорошим отцом и надежно обеспечивал семью, заслуживал ее любви куда больше. И тем не менее его она не любила – то есть, если мерилom было чувство, которое она испытывала к Андерсу Бодену. Следовательно, в этом и заключается крах ее жизни, разделенной между нелюбовью к человеку, который заслуживал ее любви, и любовью к тому, кто ее не заслуживал. То, что она считала опорой своей жизни, возможностью, сопровождавшей ее неизменной спутницей, верной, как тень, и была всего лишь этим – тенью, отражением. Ничего реального. Хотя она гордилась, что почти лишена воображения, и хотя ей всегда претили легенды, она позволила себе потратить половину жизни на фривольные грезы. В ее пользу можно сказать только, что она сохранила свою добродетель. Но чего это стоит? Подвергшись она искушению, то не колебалась бы ни секунды.

Когда она подумала об этом таким образом – ясно и правдиво, стыд и самоупреки возвратились, обретя новую силу. Она расстегнула пуговицу своего левого рукава и смотала с запястья выцветшую голубую ленту. Она швырнула ее на пол вагона.

Услышав подъезжающую пролетку, Аксель Линдвалл бросил сигарету на холодную каминную решетку. Он забрал чемодан у жены и расплатился с извозчиком.

– Аксель, – сказала она тоном веселой нежности, когда они вошли в дом, – почему ты всегда куришь, когда меня здесь нет?

Он посмотрел на нее, не зная ни что сделать, ни что сказать. Он не хотел ее расспрашивать, чтобы не заставить ее солгать ему. Или чтобы не заставить ее сказать ему правду. Он равно боялся и того, и другого. Молчание тянулось. Ну, подумал он, мы не можем жить вместе молча до конца наших жизней. И потому через какое-то время он ответил:

– Потому что мне нравится курить.

Она слегка засмеялась. Он стоял перед незатопленным камином, все еще держа ее чемодан. Насколько он знал, в чемодане могли быть скрыты все секреты, все правды и вся ложь, о которых он не хотел слышать.

– Я вернулась раньше, чем предполагала.

– Да.

– Я решила не ночевать в Фалуне.

– Да.

– Этот город пропах медью.

– Да.

– Но крыша Кристин-кирки пылает в лучах заходящего солнца.

– Да, мне говорили.

Ему было больно видеть жену в таком состоянии. Будет только гуманным позволить ей рассказать ту ложь, которую она подготовила. И потому он позволил себе спросить:

– Ну и как... он?

– О, с ним все в порядке. – Она не знала, как нелепо это прозвучит, пока не сказала: – То есть он в больнице. С ним все в порядке, но подозреваю, что это не так.

– Ну, вообще говоря, те, с кем все в порядке, в больницы не ложатся.

– Да.

Он пожалел о своем сарказме. Учитель когда-то сказал в их классе, что сарказм – свидетельство нравственной слабости. Почему он вспомнил это теперь?

– И?..

Она только теперь осознала, что должна будет отчитаться о своей поездке в Фалун. Не в подробностях, но в цели. Уезжая, она воображала, что по возвращении все абсолютно переменится и что необходимо будет только объяснить эту перемену. Молчание затягивалось, и ее охватила паника.

– Он хочет, чтобы ты получил его стойло. У церкви. Четвертый номер.

– Я знаю, что четвертый. А теперь ложись-ка спать.

– Аксель, – сказала она, – я думала в поезде, что мы можем состариться. Чем скорее, тем лучше. Я думаю, все становится легче, когда приходит старость. Ты думаешь, это возможно?

– Ложись-ка спать.

Оставшись один, он закурил новую сигарету.

Ее ложь была настолько нелепой, что даже могла оказаться правдой. Но сводилось это к одному и тому же. Если это была ложь, то правда заключалась в том, что она более открыто, чем когда-либо прежде, отправилась к своему любовнику. Своему бывшему любовнику? Если это было правдой, то дар Бодена был сарказмом, платой издевающегося любовника обманутому мужу. Таким даром, какой сплетни обожают и помнят всегда.

Завтра начнется оставшаяся часть его жизни. И она переменится, коренным образом переменится из-за сознания, что в какой-то мере его жизнь до этого вечера была совсем не той, какой он ее считал. Останутся ли у него хотя бы какие-то воспоминания, хотя бы какое-то прошлое, не запятнанное тем, что получило подтверждение сейчас? Быть может, она права, и им следует попытаться состариться вместе, полагаясь на время, на очерствение сердца.

* * *

– Что-что? – спросила сестра. Этот начинал заговариваться. Обычный симптом на последних стадиях.

– Доплата...

– Да?

– Доплата за выстрелы.

– Выстрелы?

– Чтобы вызвать эхо.

– Да?

Его голос все больше надсаживался, пока он повторял фразу:

– Доплата за выстрелы, чтобы вызвать эхо.

– Простите, мистер Боден, я не знаю, о чем вы говорите.

– Ну, так я надеюсь, вы никогда этого не узнаете.

На похоронах Андерса Бодена его гроб, сколоченный из древесины пихт, срубленных и доспевших на расстоянии крика чайки от городских перекрестков, был поставлен перед рез-

ным алтарем, вывезенным из Германии во время Тридцатилетней войны. Священник превознес управляющего лесопильней как высокое дерево, павшее под топором Господним. Прихожане не в первый раз слышали это сравнение. Стойло номер 4 перед церковью пустовало из уважения к покойному. Он никак не распорядился им в своем завещании, а его сын жил в Стокгольме. После надлежащих совещаний стойло было присуждено капитану парохода, человеку, известному многими заслугами перед обществом.

Вещи вам известные

6

⁶ The Thing You Know © Перевод. И. Гурова, 2006.

1

– Кофе, дамы?

Обе они посмотрели на официанта, но он уже наклонял чайник над чашкой Меррил. Закончив наливать, он перевел взгляд не на Джейнис, а на чашку Джейнис. Она прикрыла чашку ладонью. Даже после стольких лет она отказывалась понимать, почему американцы требуют кофе, едва официант подойдет к ним. Они пьют горячий кофе, потом холодный апельсиновый сок, потом еще кофе. Полная бессмыслица.

– Не желаете кофе? – спросил официант, словно ее жест мог быть истолкован иначе. На нем был зеленый полотняный фартук, а волосы до того напояжены, что видны были все следы гребешка.

– Я выпью чаю. Попозже.

– Инглиш брекфаст, орандж пекоу, эрл грей?

– Инглиш брекфаст. Но попозже.

Официант повернулся, будто оскорбленный, так и не встретившись с ней взглядом. Джейнис не удивилась и тем более не обиделась. Они – две пожилые дамы, а он, возможно, гомосексуалист. Американские официанты все больше и больше становятся гомосексуалистами или, во всяком случае, меньше это прячут. Возможно, такими они были всегда. В конце-то концов, отличный способ знакомиться с одинокими бизнесменами. Если предположить, что одинокие бизнесмены тоже гомосексуалисты, а это, не могла она не признать, вовсе не обязательно.

– Меня, пожалуй, соблазнят взбитые яйца, – сказала Меррил.

– Взбитые яйца! Звучит заманчиво. – Однако поддакивание Джейнис вовсе не означало, что она намерена их заказать. Взбитые яйца, считала она, принадлежат второму завтраку, а не первому. Впрочем, в меню было еще много такого, что она с завтраком совсем не связывала: вафли, оладьи по-домашнему, арктическая треска. Рыбу на завтрак? Абсурд. Биллу нравились копченые селетки, но она разрешала их ему, только когда они останавливались в отелях. Их запах пропитывает кухню, говорила она ему. И отрыгиваются они весь день. Ну да это в основном, хотя и не целиком, было его проблемой. Причина некоторых трений между ними. – Билл любил копченую селедочку, – сказала она с нежностью.

Меррил поглядела на нее, недоумевая, не упустила ли она в разговоре какое-то логическое звено.

– Ну да вы не знали Билла, – сказала Джейнис так, словно со стороны Билла было непростительным промахом – и теперь она извинялась за него – умереть до того, как он мог познакомиться с Меррил.

– Дорогая моя, – сказала Меррил, – у меня Том это, Том то, Том се, и вам лучше остановить меня, прежде чем я закушу удила.

Они снова вернулись к меню теперь, когда каким-то образом условия завтрака были оговорены.

– Мы ходили посмотреть «Тонкую красную линию», – сказала Джейнис, – и получили большое удовольствие.

Меррил прикинула, кем могли быть эти «мы». Одно время «мы» могли означать «Билл и я». Кого они подразумевали теперь? Или всего лишь привычка? Может быть, Джейнис и после трех лет вдовства не в силах вернуться к «я»?

– Мне не понравилось, – сказала Меррил.

– О! – Джейнис покосилась на свое меню, будто ища подсказки. – Нам показалось, что снят фильм превосходно.

– Да, – сказала Меррил, – но я нашла его... ну... скучным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.